

Сузи Франк

СОЛОВЕЦКИЙ ТЕКСТ. Часть 2¹

Статья представляет собой попытку описания «соловецкого текста» русской литературы. Ее вторая часть посвящена современной разновидности «соловецкого текста», которую можно назвать опытом национально-исторической типизации. Анализируются «Поездка на острова» Юрия Нагибина (1986), «Соловецкие парадоксы» Юрия Бродского (1998), «Обитель» Захара Прилепина (2014) и «Авиатор» Евгения Водолазкина (2016). Делается вывод о моделирующей семантике Соловков, предстающих символом травматической исторической памяти. Варианты примирения и принятия национального прошлого определяют современную динамику «соловецкого текста».

Ключевые слова: Соловки, Соловецкий монастырь, Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), «соловецкий текст», символическая континуальность, эволюция локального текста, Ю. Нагин, «Поездка на острова», Ю. Бродский, «Соловецкие парадоксы», З. Прилепин, «Обитель», Е. Водолазкин, «Авиатор».

III. Вслед Солженицыну

«Архипелаг ГУЛаг» А.И. Солженицына является исходным интертекстуальным пунктом для возникающей позже, в позднесоветскую и постсоветскую эпоху, последней разновидности «Соловецкого текста», которую можно назвать **опытом национально-исторической типизации**. Это определение подразумевает взгляд на историю Соловков как на этапы формирования самоидентичного топоса, обладающего огромным символическим потенциалом в отношении ко всей России.

Четыре текста, на которых я хочу остановиться подробнее, «Поездка на острова» Юрия Нагибина (1986), «Соловецкие парадоксы» Юрия Бродского (1998), «Обитель» Захара Прилепина (2014) и «Авиатор» Евгения Водолазкина (2016) особенно очевидно наследуют концепцию Солженицына в одном пункте, а именно, в антро-

¹ Первая часть статьи опубликована в предыдущем номере журнала. – *Примеч. ред.*

пологизации кода описания: первым следствием этого становится мощная тенденция к обобщению, которая, однако, у каждого из трех следующих за Солженицыным авторов отмечаем один и тот же национально-исторический поворот.

Прежде всего для наследников Солженицына оказывается важным тот антропологический уровень, на который он возводит историю Соловков. Юрий Нагибин, Юрий Бродский, Захар Прилепин и до некоторой степени Евгений Водолазкин исходят из поэтики Солженицына и – каждый по-своему – придерживаются антропологического кода описания. Однако они отклоняются от дескрипции Солженицына, фокусируя свое внимание не на общей истории системы ГУЛаг, а специально на истории Соловков, исходя при этом из стремления показать непрерывность этой истории, повторяющийся возврат к одной и той же ситуации-конstellляции и, таким образом, тождественный самому себе характер этого топоса. При этом они подчеркивают национальную значимость Соловков: для них Соловки – это не только источник, отправной пункт и синекдоха раскинувшейся на всю страну сети ГУЛаг, но и символический топос, важный для истории всей страны, являющийся, однако, одним из пунктов на карте тех топосов, которые национальное сознание наполняет определенным символическим смыслом. Я полагаю, что именно эти наследники Солженицына создали мифопоэтику Соловков, сконструировав историческую константность самоидентичного *genius loci* и сотворили «соловецкий текст», сопоставимый по признаку структурированности и национальной принадлежности с «петербургским текстом» Топорова и Лотмана и «сибирским текстом» Лотмана и Тюпы.

Нагибин

Посещение Соловков, предпринятое во время журналистского турне по Русскому Северу, вдохновило советского писателя Юрия Нагибина на многие рассказы. Непосредственно Соловкам посвящены два его текста: «Куличок-игумен» [1] и «Поездка на острова. Повесть» [2]. Некоторые другие рассказы опосредованно и фикцио-

нально-имплицитно связаны с соловецкими впечатлениями писателя, как, например, «Терпение» или рассказ «Встань и иди»¹.

«Куличок-игумен» (1985) – это чисто исторический рассказ на сюжет из эпохи Ивана Грозного, главным героем которого является игумен Филипп. Год спустя после написания рассказа Нагибин вставил его в очерк «Поездка на острова», гибридное по своей жанровой специфике произведение, соединяющее в себе признаки травелога и исторического, описывающего современность XX в. в сопоставлении с веком XVI нарратива, в котором возникают реминисценции недавней современности – Архипелаг и СЛОН. Центральным сюжетно-композиционным элементом этого текста стал внедренный в него в качестве текста в тексте рассказ «Куличок-игумен», посвященный Филиппу и Ивану Грозному. В рамочном повествовании, ведущемся от имени повествователя-посредника Егошина, современность осмыслена как отблеск прошедших времен. Их семантические и прежде всего этические оппозиции проявляются в настоящем в своем измельчавшем облике:

– Ты мне, сука, за все заплатишь. Вся вонь от таких, как ты. Вечно ты мне поперек лезешь, всю жизнь. Интеллигент паршивый!..

«Знакомая мелодия, – подумал Егошин. – Но неужели это правда?.. Значит, я все-таки не зря коптил небо, если мешал таким, как этот?.. *Ах, как измельчал, как измельчал ты в новом образе, Колычев!*.. Да и враг твой – мелочь... Но это ничего... ничего... Я еще буду... когда-нибудь опять. И тогда прикончу Железную старуху зла...» [З. С. 248]².

Последовательность исторических эпох в этой перспективе выступает как повтор и вариация одних и тех же констелляций. И точно такой же константой, обеспечивающей возможность этих повторов, предстает позиция человека, отвергающего историческую память и руководствующегося предвзятым мнением о современности:

¹ Рассказ «Встань и иди» [З. С. 19–131] – вымышленная история семьи, воспоминания сына о ссыльном отце, постоянно перемещаемого из одного лагеря в другой; при этом Соловки не являются местом действия и в перечне лагерей никак не упомянуты.

² Аллюзия на рассказ А. Платонова «Железная старуха» (1951), в форме трогательно-наивной детской фантастики поднимающий вечные вопросы бытия – самосознание, сущность добра и зла и пр. Герой рассказа – одержимый жаждой знания маленький мальчик Егор, вступающий в борьбу с «железной старухой», в существовании которой он сомневается и смертельно угрозу которой хотел бы уничтожить.

– Культ личности! – сочувственно вздохнул сержант Мозгунов.

– Да! – подхватил Борский. – Но мы его преодолели и вычеркнули из памяти. По этому принципу русскую историю можно очистить от татарского ига, Ивана Грозного, Смутного времени, почти всех Романовых, а также от эпохи волонтаризма и оставить лишь безупречное настоящее.

– Нет, товарищ Борский, – возразил думающий русский человек, милиционер Мозгунов. – О настоящем нам после скажут... [3. С. 247].

Поэтому неудивительна сухая справка экскурсовода, сообщающего, что о временах СЛОН не сохранилось никакой информации:

А женского монастыря тут не было? – ни к селу ни к городу, двусмысленным, сулящим юмор голосом спросил рыжий озорник.

– Нет! – резко сказал гид. – Здесь все было только для мужчин: монастырь, тюремные камеры. Позднее – воспитательная колония, затем СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения.

Жестокая справка охладила остроумца, он стушевался.

– Хотелось бы услышать подробнее о СЛОНе, – сказал Борский.

– Никаких архивных документов об этом периоде не осталось, – сухо ответил гид.

– Вот те раз! Десять лет существовал лагерь, ликвидирован перед самой войной – и *никаких следов. Это же не времена игумена Филиппа или Потемкина-Таврического.*

– *Никаких следов*, – повторил гид [Там же. С. 236–237].

Нагибин предлагает эксплицитную параллель между активными созидательно-творческими временами Филиппа и столь же активной творчески-созидательной позицией сосланных на Соловки советских интеллигентов:

– После революции сюда присылали на перевоспитание тех представителей ленинградской интеллигенции, преимущественно научно-технической, что саботировали мероприятия Советской власти. Они очень много сделали для острова. Можно сказать, продолжили созидательную работу игумена Филиппа.

– Что-то это напоминает... – задумчиво сказал Борский. – Да ладно... Все же непонятно, как при такой осведомленности о глухих временах Ивана Грозного ничего не известно о недавнем прошлом [Там же. С. 237].

Далее рамки предложенной интерпретации выходят за пределы истории на уровень обобщения, а сама интерпретация выдвигается в плоскость универсальной гуманистической этики:

– Да здравствует воинствующий гуманизм! – с каким-то бедным весельем произнес экскурсовод. – Ну, мне пора сесть дальше разумное, доброе, вечное.

Они пожали друг другу руки и разошлись.

– Насладились боевой славой? – спросил Борский.

– Какая там слава! Если б не вы, он бы меня уколошил. Но вообще я рад, что это было.

– А я – нет! Зачем лезть не в свое дело?

– Мне показалось, что впервые в жизни я полез в свое дело. Ужасно жалею, что никогда никуда не лез... Кстати, вы непоследовательны. Вспомните наш разговор в аэропорту.

– Что тут общего? Там было нарушение закона. А этот – уголовной юрисдикции не подлежит.

– Вот почему вы остались в стороне?

– Если хотите – да. И повод был ничтожный.

– Моя бабушка говорила: нет зла большого и зла малого. Зло – оно всегда зло. И неужели утаенные киоскершей газеты важнее осквернения памятника?

– Тогда будьте последовательны. Рыжий кочевряжился на саркофаге, другие на него мочатся или валят девочек... Наймитесь сюда сторожем вместо той старухи с распухшими ногами.

Почему он злится? Потому что недоволен собой?.. Тогда это хорошее в нем. А может, последовать его совету? Выйти на пенсию и поступить сюда сторожем?..

– Возможно, я так и сделаю, – серьезно сказал Егошин.

– Старое дитя!.. Не связывайтесь вы с этим охлагоном. Поверьте моему опыту: это не просто фальшак, дешевка, он опасен.

– Вы считаете, тут пахнет убийством? – с нарочито серьезным видом спросил Егошин.

– Надеюсь, что нет! – Странная, медленная, нежная улыбка всплыла из глубины существа Борского и завладела лицом, наделив его непривычной мягкостью. – А вы никогда не задумывались, как легко убить человека?

– В практическом или этическом плане? – Егошина поразило дикое несоответствие слов Борского его улыбке. Может, улыбка относилась не к самому вопросу, а к тому доверию, какое тот впервые кому-то оказывал.

– Практический аспект не интересен: так или иначе способ всегда находят. Если же возникает этическое сомнение, то это невероятно трудно. Но вся соль в том, что этический момент почти никогда не возникает. У Раскольникова он возник, поэтому самые умные исследователи считают, что он вовсе не убивал ни старуху процентщицу, ни жалкую Лизавету. Убивали и убивают – много и охотно – те, перед кем такой вопрос не возникает. Из всех так называемых извечных запретов людям легче всего переступить именно этот. Гарантируйте безнаказанность – человечество исчезнет с лица земли в гомерически короткий срок. Убийство станет почти единственным способом общения между людьми, даже самыми близкими. Между близкими – в первую очередь.

– Если вы хотели меня запугать, – Егошин улыбался несколько натянуто, – то, кажется, достигли цели [З. С. 243–244].

Разделяя в рассказе «Куличок-игумен» солженицынский пессимизм в отношении нравственной природы человека, Нагибин в «Поездке на острова» несколько смягчает финал рассказа, который становится не таким безнадежным:

Ты мне, сука, за все заплатишь. Вся вонь от таких, как ты. Вечно ты мне поперек лезешь, всю жизнь. Интеллигент паршивый!..

«Знакомая мелодия, – подумал Егошин. – Но неужели это правда?.. Значит, я все-таки не зря коптил небо, если мешал таким, как этот?.. Ах, как измелечал, как измелечал ты в новом обрзе, Колычев!.. Да и враг твой – мелочь... Но это ничего... ничего... Я еще буду... когда-нибудь опять. И тогда прикончу *Железную старуху зла...*»

– Ладно, – сказал он ясным и звучным голосом. – Брось болтать пустое, Малюта, делай, зачем пришел!..

И рыжий верзила, что стоял напротив него, будто что-то вспомнил. Нет, то были не воспоминания, а догадка, что ему подсказывают его истинную суть. Он смешно, наивно наклонил к плечу голову, силясь постигнуть конечный смысл услышанных слов или разгадать отзвук, который они породили в нем.

И какое-то доверчивое выражение появилось на его грубом лице, он верил, что сейчас все объяснится до конца. Но Егошин молчал, глядя выжидающе ему в лицо. Рыжий потупился, потом вскинул голову, быстро шагнул к маленькому человеку, стоящему над черной водой, и протянул вперед руки... [Там же. С. 248–249].

Бродский

В годы перестройки положение вещей радикально изменилось. Попытки осмыслить ГУЛаговское прошлое перестали подавляться. Воспоминания и свидетельства очевидцев начали издаваться, по крайней мере, в отрывках (по большей части такие публикации появлялись в журнале «Огонек») – как, например, мемуары Д.С. Лихачева (отдельное издание: [4]) или появившиеся в 1988 г. воспоминания писательницы Веры Пановой о ее последней встрече с мужем, Борисом Вахтиным, в пересылочном пункте Кемь. В 1988 г. на студии Мосфильм режиссером Мариной Голдовской был снят фильм «Власть соловецкая», который впервые донес до широкой публики свидетельства переживших репрессии соловецких узников – в том числе Д.С. Лихачева.

В эти годы в Соловках сформировалась группа молодых историков, и результаты предпринятой ими непосредственно на месте исследовательской деятельности дали много авторитетных материалов для изучения истории СЛОН, для музейной документации и политических мероприятий по увековечению памяти соловецких узников (памятники). Первыми важными – и по сей день, вероятно, важнейшими – шагами на этом пути стали организация выставки, посвященной истории СЛОН и истории Соловецкого монастыря, а также отчасти осуществленная идея установки памятников в виде каменных блоков всем жертвам СЛОН и ГУЛага в разных городах России (Соловецкие камни, 1989–1990).

Одним из этих молодых исследователей был Юрий Бродский, приехавший в рамках журналистского расследования на Соловки в качестве фотографа, оставшийся на островах и в 1990-х гг. создавший базу источников истории СЛОН, которая стала важной вехой для дальнейших исторических исследований: «Соловки. Двадцать лет особого назначения»¹. Этот том содержит репрезентативное собрание свидетельств очевидцев-узников СЛОН, выживших в лагере или умерших в нем: материал тома рубрицирован по профессиональному и возрастному критериям. Несмотря на то, что сам Бродский не историк, ему удалось определить дальнейшие пути символической концептуализации Соловков в предпосланном его тому программном эссе «Соловецкие парадоксы»².

¹ Первопубликация на итальянском языке в Милане (1988).

² Это эссе многократно выходило отдельным изданием и переведено на многие языки. На русском языке перепечатано в 2002 г. в программном издании: первом томе историко-литературного альманаха «Соловецкое море» [5].

В этом эссе Бродский, хоть и неявным образом, следует за Солженицыным и Нагибиным. Он тоже пытается осмыслить Соловки как своего рода общечеловеческий символ, причем делает это, подобно Нагибину, в сравнительно-исторической ретроспективе. При ее помощи Бродский показывает историческую континуальность, берущую свое начало в Средних веках и актуальную до сего дня: амбивалентность символических коннотаций топоса, вибрацию его смыслов между полюсами многочтимого святого места, уединенной обители духовности и веры, с одной стороны, и топоса насильственного отторжения от социума, топоса, в котором власть центра самоутверждается самым жестоким способом, – с другой.

Именно здесь Бродский находит характерный семантический парадокс Соловков, который на протяжении столетий неизменно проявляется в разнообразных конкретно-исторических деталях. Видя в нем символ «всемирной картины борьбы зла с добром», Бродский возводит семантику соловецкого топоса до степени общечеловеческой. Тем не менее именно из этого парадокса, который столетиями подтверждает свою актуальность повторяющимися фазами своей истории – стремлением к неповиновению или мученичеством тысяч и тысяч жертв, Бродский выводит принципиальную возможность выхода из порочного круга и реинтерпретации семантики Соловков. Это утверждение Бродский мотивирует указанием на то, что даже крест как символ может подвергаться перекодировке: перед тем как крест стал христианским символом спасения, он – в контексте Римской империи – был символом торжествующего насилия репрессий. Тем самым Бродский до некоторой степени делает Соловки символом второго порядка, символическим топосом, способным творить символы, и его значение не ограничивается только структурно-механистическим потенциалом процесса символотворения (процесса, который с точки зрения культурной семиотики или теории обряда присущ любому лиминальному топосу): соловецкий топос обладает однозначной и мощной этической импликацией: даже там, где зло вновь и вновь доминирует над добром, добро может победить.

Прилепин

В эпоху Путина Соловки переживают церковный ренессанс. Возрастает поток туристов и паломников. Создаются группы экспертов, разрабатывающих туристические концепции и прилагающие

усилия к их преобразованию (прежде всего, стоит вопрос о том, передать ли Соловки в полное подчинение церкви или нет); свидетельство этому в недалеком прошлом – фильм «Остров» Павла Лунгина (2008). В 2014 г. новый и до сих пор самый значительный из романов Захара Прилепина «Обитель» был удостоен первой премии национального конкурса «Большая книга», а в 2016 г. появился роман Евгения Водолазкина «Авиатор», в котором жанр исторического романа обогащен элементами научной фантастики.

Уже само заглавие романа Прилепина соответствует вышеупомянутой риторической фигуре метонимического обобщения *pars pro toto*: «Обитель» – это рематическое обозначение монастыря, встречающееся уже в исторических документах и, по свидетельствам документальных источников XIX в., употребительное в обиходной речи обитателей Соловков. Однако в романе Прилепина речь идет не о монастыре, а об эпохе СЛОН: в жанре актуального в последнее время исторического романа Прилепин переносит это типичное обозначение монастыря на ГУЛАг, тем самым уподобляя их друг другу, и вслед за Нагибиным и Бродским утверждает ту же самую историческую константность местной семантики.

В изображаемом Прилепиным мире советский лагерь и церковь пока еще не находятся в оппозиции, но и не окончательно совмещаются. С точки зрения протагониста из числа лагерной администрации, почти парадоксом – и в этом Прилепин эксплицитно соотносится с концепцией Бродского – выглядит то, что духовные лица и белогвардейцы занимают высокое положение в лагере, а архиереи охраняют собственность большевиков¹.

С точки зрения разных персонажей разные эпохи сравниваются между собой и каждый раз – по признаку сходства. Так, например, происходит в эпизоде, в котором начальник лагеря Эйхманис указывает на то, что монастырь всегда был в высшей степени обороноспособной и до зубов вооруженной крепостью. Или когда он же замеча-

¹ Ср.: «Василий Петрович наверняка завел тему о парадоксах Соловков – не кажется ли вам забавным, что в стране победившего большевизма в первом же организованном государством концлагере половину административных должностей занимают главные враги коммунистов – белогвардейские офицеры? А епископы и архиепископы, сплошь и рядом подозреваемые в антисоветской деятельности, сторожат большевистское и лагерное имущество!» [6. С. 57]. Известную парадоксальность или, во всяком случае, резкую гетерогенность Соловков увидел уже Нагибин: в его текстах она находит свое имплицитное выражение в наблюдениях над составом соловецких узников, среди которых были и злодеи, и в высшей степени достойные люди, впрочем и те и другие – высокого ранга [3. С. 236].

ет, что в системе СЛОН под арест заключено гораздо меньше духовных лиц, чем белогвардейцев или даже членов самого ОГПУ, и что именно клирикам живется относительно лучше (именно эту цель преследует и вымышленное действие романа):

– Рассказывают, что мы убили русское священство, – тихо продолжил он. – Как бы не так. В России сорок тысяч церквей, и в каждой батюшка, и над каждой батюшкой свое начальство. А в Соловках их сейчас одна рота длиннополых – 119 человек! И то самых настырных и зловредных. Где же остальные? А все там же. Проповедуют о царстве Антихриста. Нет, Феофан? – вдруг крикнул Эйхманис и еще громче скомандовал: – Заткнись!..

– Да ладно бы только проповедовали! – кривя улыбку, продолжил Эйхманис, голос его стал жестяной и бешеный. – Никто ж не рассказывает, что было обнаружено в Соловецком монастыре, когда мы сюда добрались в 1923-м. А было обнаружено вот что. Восемь трехдюймовых орудий. Два пулемета. 637 винтовок и берданок с о-о-огромным запасом патронов. Феофан! – снова, неожиданно и яростно, рыкнул Эйхманис. – На кого хотели охотиться? На тюленей? Из пушек? А? Заткнись!

– Мы понимаем, что это такое? – спросил Эйхманис, точно уже спрашивая не сидевших здесь, а кого-то, находящихся за их спинами. – Непрístupная крепость, которую англичане взять не смогли, а царь Алексей Тишайший десять лет осаждал. И она полна оружием, как пиратский фрегат. Монахи здесь, между прочим, издавна были спецы не только по молитвам, но и по стрельбе. И что вы приказали бы предпринять советской власти? Оставить здесь монастырь? Это... прекрасно!.. Прекрасное добросердечие. Но, думаю, вполне достаточно, что мы их всех не расстреляли немедленно, и даже оставили тут жить... Пушки, правда, отобрали... Но если Феофан напишет бумагу, что ему требуется пушка, – я рассмотрю... [б. С. 277–278].

И даже сам служитель культа, игумен Иоанн, которого все любовно величают «владычка», не делает различия между монастырем и советской властью:

– Но надо помнить, милые, – говоря это, чуть прихрамывающий владычка Иоанн посмотрел на Артема, пошедшего справа, и тут же на мгновение обратил взор к идущему слева Василию Петровичу, – адовы силы и советская власть – не всегда одно и то же. Мы боремся не против людей, а против зла нематериального и духов его. В жизни при власти Советов не может быть зла – если не

требуется отказа от веры. Ты обязан защищать святую Русь – оттого, что Русь никуда не делась: вот она лежит под нами и греется нашей слабой заботой. Лишь бы не забыть нам самое слово: русский, а все иное – земная суета. Вы можете пойти в колхоз или в коммуны – что ж в том дурного? – главное, не порочьте Христова имени. Есть начальник лагеря, есть начальник страны, а есть начальник жизни – и у каждого своя работа и своя нелегкая задача [6. С. 44–45].

Распознаваемость исторической непрерывности даже в ее вариациях подчеркнута тем, что Прилепин противопоставляет великим историческим персонажам (игумену Филиппу, например) их ничтожных современных двойников и тем самым обозначает историческую деградацию топоса. На материале разных исторических эпох Прилепин сопоставляет многих одноименных персонажей. Так распадается на разные персонификации антропоним «Филипп», вовлекаясь таким образом в игровое поле парадокса. Сначала Филипп репрезентирован как бесспорный святой, как пример недостижимого величия:

И святой Филипп жил в безбрачии. И оглядываюсь я порой и думаю, может, и остались вокруг только дети Путши и Скуратовы дети, дети Еловца и Кобылины дети? И бродят по Руси одни дети убийц святых мучеников, а новые мученики – сами дети убийц, потому что иных и нет уже?

Владычка вдруг заплакал, негромко, беспомощно, по-стариковски, стыдясь себя самого – никто не мог решиться успокоить его, только ходившие по церкви встали, и разговаривавшие на своих нарах – стихли [Там же. С. 513].

Рядом с историческим игуменом Филиппом возникает современный «Филиппок»: преступник, которого зовут «юродивым» [Там же. С. 73] из-за его инфантильно-наивной, почти идиотической и одновременно разоблачающей манеры поведения:

Звали его Филиппом – Афанасьев узнал. Убил Филиппок свою матушку и по той причине оказался в Соловецкой обители [Там же. С. 86].

Интертекстуальным претекстом для юродской вариации образа Филиппа мог бы послужить рассказ Нагибина «Куличок-игумен», где Иван IV, желающий призвать Филиппа в метрополию несмотря на его «юродство», под которым подразумевается сдержанная реак-

ция игумена на лестное предложение, критикует игумена следующим образом:

– Очнись, Филипп! Не юродствуй. Ты ныне не Соловецкой земле, а всей Руси служить будешь. Не унижайся, игумен. Бери, что дают, и стань наравне со славнейшими. Не зли меня, Филипп. Не доводи до худого [3. С. 206].

Далее с этим современным ничтожным Филиппом оказывается сопоставим игумен Иоанн, которого любовно величают диминутивом «владычка»:

Продолжалось то меньше трети минуты. Владычка вздохнул и вытер глаза рукавом. – Но и этих надо любить, – сказал он и осмотрел всех, кто был вокруг. – Сил бы [6. С. 513].

И в-третьих, первый и самый долголетний начальник СЛОН, латыш Эйхманис, постоянно сопоставляется с Филиппом и даже приравнивается к нему¹.

В приложенном к роману вымышленном дневнике его тайной возлюбленной Федор Иванович Эйхманис часто обозначен просто инициалом Ф. В этой редукции антропонима до инициала, на поверхности нарратива вызванной только необходимостью соблюдать тайну связи, легко усматривается возможность ассоциации с Филиппом, подтвержденная и в характеристике Эйхманиса: несмотря на то, что он в качестве начальника лагеря охарактеризован как человек в высшей степени неоднозначный, акцент на его заслуживающих уважения многочисленных инновационных и способствующих прогрессу мероприятиях тоже намекает на возможность соотнесения его фигуры с фигурой архитектора инноваций и автора многих учреждений игумена Филиппа, который сделал из затерянного в глуши сонного средневекового монастыря своего рода форпост хозяйственного, культурного и духовного прогресса Нового времени. В авторских примечаниях к роману находим следующую запись:

13 марта 1925 г. организуется Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения (СОАОК): приказ по Управлению Соловецким лагерем особого назначения. Председатель краеведов, как ни удивительно, Федор Эйхманис.

¹ Напротив, у Нагибина с инновационными мероприятиями Филиппа сравнивается деятельность соловецких узников [3. С. 237], ср.: «Там со времен игумена Филиппа, подалее от монастыря, разводили скотину. Эйхманис традиции не стал нарушать: издали был слышен бычий рев, виднелись огромные скотные дворы, пахло» [6. С. 257].

12 мая 1925 г. очередным приказом УСЛОНа северо-восточная часть Большого Соловецкого острова объявлена заповедником. На территории заповедника запрещалась вырубка леса, охота, сбор яиц и пуха. Позже по инициативе Эйхманиса был заложен питомник лиственниц и других хвойных, которые были рассажены по всему острову.

(Послушное воображение рисует молодого мужчину – вот у него саженец в руках, вот он держит в ладонях нежнейшего птенца лимонного цвета.)

Соловецкие краеведы (по совместительству – заключенные) и бывший организатор спецпокушений во главе краеведов – с успехом занимаются акклиматизацией ондатры и вопросами рационализации лесопользования.

Эйхманис и его спецы изучают острова архипелага, скиты на Анзере, неолитические лабиринты на Большом Заяцком острове, Фаворскую часовню на острове Большая Муксалма, разыскивают и описывают землянки отшельников.

Весомая цифра: 138 научных учреждений СССР переписываются с краеведами Эйхманиса.

Летом 1926 г. к Эйхманису приезжают столичные гости – профессор Шмидт (АН СССР), профессор Руднев (Центральное бюро краеведения), профессор Бенкен (ЛГУ). Профессора, мягко говоря, удивлены результатами работы и настаивают на преобразовании СОАОКа в самостоятельное Соловецкое общество краеведения (СОК).

СОК организован в ноябре 1926 г.

В декабре публикуется первый сборник научных материалов СОКа. В последующие годы их будет опубликовано еще двадцать пять. Ценность многих монографий поныне несомненна.

Далее: еще одна забава латышского стрелка – музей, под который выделили Благовещенскую церковь и утепленное прясло крепостной стены возле Белой башни.

После случившего в монастыре пожара (вопреки легенде большевики не имели к нему никакого отношения: зачем им жечь собственный лагерь) в музей идет 1500 единиц хранения монастырского архива, 1126 старых книг и рукописей, две с половиной тысячи икон, деревянная и оловянная посуда основателей монастыря, келейный белокаменный крест преподобного Савватия, чудотворная Сосновская икона Корсунской Божией Матери в серебропозлащенной ризе ручной художественной работы, образ Спаса Нерукотворного, написанный преподобным Елеазаром Анзерским, художест-

венная парча, коллекция отреставрированных древних бердышей, копий, стрел, пушек, пищалей. Всего 12 тысяч экспонатов.

Ну и заодно: программки лагерных театров, лагерные газеты и журналы, фотографии бодрого быта лагерников, их литературные сочинения и прочие рукотворные изделия эзка. А что, тоже история.

Одновременно по приказу Эйхманиса открыт еще один музей в части Спасо-Преображенского собора. В алтаре – экспозиция по иконописи <...> [6. С. 733–734].

Далее в вымышленном дневнике возлюбленной начлага Галины записано, что Эйхманис организовал перезахоронение мощей основателей монастыря (их эксгумация осуществлялась тоже по его инициативе) и позаботился о том, чтобы был сокращен срок заключения Нафталия Френкеля, будущего генерал-лейтенанта НКВД.

Все это делает прилепинский образ Эйхманиса мерцающим и даже более позитивным, нежели негативным – это фигура, которой свойственны все ужасные черты прототипов – деятелей ГУЛага, но которая может вызвать и положительные эмоции своими действиями по устройству и развитию многочисленных местных исследовательских учреждений, собиранию архивов и сохранению в музеях духовного наследия богатой истории Соловков¹.

Очевидно, что в характеристике Эйхманиса вопрос о его национальной принадлежности играет важную роль. Между этической и нравственной амбивалентностью Эйхманиса и неопределенностью его национальной принадлежности устанавливается причинно-следственная связь. Его возлюбленная, Галина, по этому поводу замечает в своем дневнике:

Он сказал как-то: «У латышей нет своего характера – характер им заменяет исполнительность и точность. Они подумали, что вся Россия станет их страной, – у них же не было страны, только немецкие господа. Но Россия опять извернулась и становится сама собой. Она как соловецкий валун: внутрь ее не попасть. Латыши остались ни при чем, и поздно это поняли».

¹ Д.С. Лихачев тоже отмечает, что Эйхманису, несмотря на его жестокость, нельзя отказать в признании его заслуг по сохранению культурных ценностей Соловков и организации исследовательских учреждений: «Во главе Соловецкого общества краеведения в середине 20-х гг. стоял эстонец Эйхманс (его фамилию в воспоминаниях бывших соловчан часто пишут «Эйхман» – это неправильно). Человек относительно интеллигентный. Получилось так, что из заведующего Музеем он стал начальником лагеря и при этом чрезвычайно жестоким. Но к Музею он питал уважение, и Музей даже после его отъезда вплоть до трагического лета 1932 г. сохранял особое положение» [4. С. 201].

(Я когда видела валун на кладбище, вспомнила про тот валун, о котором он говорил, и так сложилось у меня в сознании, что это один и тот же валун.)

Ф. закончил так: «Дело большевиков – не дать России вернуться в саму себя. Надо выбить колуном ее нутро и наполнить другими внутренностями».

У Ф., конечно, нет никакой национальности [6. С. 722].

Не ответственны ли за амбивалентность топоса люди, не принадлежащие к русской нации?

Несомненно, что для Прилепина борьба добра со злом, и в его тексте сражающихся на Соловках, – это чисто русская борьба. Уже из процитированных выше слов игумена Иоанна явствует, что продекларированная в них историческая континуальность, неизменная самоидентичность Соловков принадлежит Руси-России: хотя она и описана как почти совершенно омраченная «тенью», она все же заслуживает сохранения, и особенно на фоне многочисленных других, не-русских внешних сил и непрошенных гостей, от которых она изображена защищающейся.

В другом эпизоде Прилепин эксплицитно описывает Соловки как синекдоху России, которая отражается в островах как в фокусе линзы:

Соловки – это отражение России, где все как в увеличительном стекле – натурально, неприятно, наглядно! [Там же. С. 58].

Прилепин подхватывает, хотя и опосредованно, как до него это уже сделал Бродский, «девиз» СЛОН и делает его интерпретационным кодом русской истории: «Сначала на Соловках, потом на всей Руси». Тем самым он основывается на просьбе Ивана IV игумену Филиппу стать митрополитом: только Филипп может быть полномочным представителем Руси, поскольку раньше он нес ответственность за Соловки¹.

Как утверждает Прилепин, вкладывая соответствующее изречение в уста начальника лагеря Эйхманиса, амбивалентным топосом, обремененным негативными коннотациями, Соловки стали исключительно по вине их узников, отбросивших на это святое место тень своих грехов:

¹ Несколько ранее Нагибин подобным образом охарактеризовал деятельность Филиппа как попытку сделать Соловки миниатюрным подобием России – в частности, его стремление представить на островах всю флору и фауну страны [3. С. 165].

Ф. – владычке Иоанну (запомнила): – Знаю, к чему клонишь! Кло- нишь к тому, что нам все вернется. Все уже вернулось вам! Крестья- нин Семен Шубин провел на Соловках 63 года – за произношение на святые дары и святую церковь богохульных слов! 63! И половину в одиночке сидел! Вот какая всемилостивая и всеблагая! Вот ее дары... Последний кочевой атаман Сечи Запорожской Петр Кальнишевский 25 лет тут просидел, из них шестнадцать – в каменном мешке. Погу- лять его выводили три раза в год – на Пасху, Преображение и Рожде- ство. Это очень православно, да! Иноки сдали митрополита Филиппа – бывшего соловецкого настоятеля – Грозному. Молчали бы! А Филип- пу тут Христос являлся – в Филипповой пустыни! И его иноки – отда- ли, и Филиппа удушили. Вы теперь что хотите, чтоб на Соловках бы- ло? Пальмы чтоб тут росли?.. (Владычка Иоанн слушал, улыбался, тихо кивал головою, как будто слушал дорогого ему ребенка, а тот по- вторял Символ веры) [6. С. 725–726].

Семантика топоса, исторические события, в нем происходив- шие, предстают повторением все той же основополагающей ситуа- ции: там, где может случиться лучшее и человек может жить спо- койно, случается худшее, и люди действуют вопреки всем заповедям – христианским заповедям! морали. Советский лагерь только повторяет то, что творили сами монахи.

Итак, не подхватывает ли Прилепин пессимистический гума- низм «Архипелага ГУЛаг» Солженицына?

Я полагаю, что Прилепин делает следующий после Нагибина шаг в направлении возврата Соловкам позитивных коннотаций, поскольку он не делает этот топос исключительным символом неизбежной победы зла и тем самым – символом антигуманного человечества, подобно Солженицыну и Нагибину. Напротив, для Прилепина Соловки облада- ют значительным потенциалом добра – и в этом он смыкается с Брод- ским. Правда, неограниченная возможность реализации этого потен- циала еще впереди – и эту перспективу текст Прилепина оставляет открытой: будут ли ей способствовать другие нации или же сумрачная природа, впрочем, в целом подходящая для человека – на этот вопрос в тексте нет ответа. Вышеприведенные цитаты по поводу русского – не- русского вполне можно сравнить с утверждениями: «Человек – это та- кое ужасное» [Там же. С. 718] или «Человек темен и страшен, но мир человекен и тепел» [Там же. С. 746]. Тем самым Прилепин вновь обыг- рывает название своего романа: слово «обитель» в этом контексте мо- жет быть понято и как православно-христианская метафора вселенной, и, значит, – опять-таки России.

Водолазкин

Роман Евгения Водолазкина «Авиатор» (2016) – это воспоминание об иллюзиях и травмах советской эпохи; в нем писатель задается вопросом, возможно ли объяснить ее последующим поколениям и сохранить в исторической памяти. И этот вопрос неизбежно влечет за собой следующий: если возможна интеграция ужасов ГУЛага в историческую память, то возможно ли искупление вины, которой обременили себя деятели ГУЛага? Соответственно, это поднимает и проблему справедливости, и проблему смысла исторических событий. И здесь Соловки – не просто место действия, но и в качестве метафоры национальной *conditio* важны на символическом уровне.

Вымышляя биографию героя, Иннокентия Петровича Платонова, Водолазкин сводит в непосредственном – так сказать, физическом – контакте эпохи сталинизма и постсоветских поздних 1990-х гг.: Платонов – это своеобразный воскрешенный Лазарь, продукт эксперимента «*Лаборатории по замораживанию и регенерации*» ОГПУ, действовавшей в системе СЛОН на Соловках, успешно размороженный и тем самым возвращенный к жизни русскими учеными 1990-х гг.

Таким образом Водолазкин искусно соединяет две главные составляющие популярного жанра фэнтези: научную фантастику и мотив воскресения из мертвых, нагружая их оба национально-историческими смыслами.

Имя Иннокентий, как это может показаться, свидетельствует о невинности героя, но так ли это? В 23-летнем возрасте он был обвинен в убийстве агента ГПУ и сослан на Соловки, где подвергся жестоким пыткам и выжил, в конце концов, возможно, только потому, что добровольно согласился подвергнуться первому опыту замораживания на человеческом материале – до этого эксперименты проводились только на крысах. Действие романа, разворачивающееся в 1990-е гг., вводит читателя в процесс постепенного восстановления памяти героя при помощи терапии, способствующей последовательному контакту героя с вещами и людьми из его прежней жизни. При этом выясняется, что Иннокентий действительно виновен в убийстве, за которое был сослан, но мотивом его преступления было восстановление справедливости, вернее, кара за преступление: статуэткой Фемиды, стоявшей в доме, где он вырос, он убил рабочего колбасной фабрики Николая Ивановича Зарецкого, бывшего тайным агентом ГПУ и донесшего на хозяина квартиры, профессора Воронина, обвинив его в контрреволюционной деятельности, за что

профессор и был вскорости расстрелян. Не случайно, конечно, упоминается и о том, что Иннокентий, еще будучи ребенком, отколол от этой статуэтки весы, попытавшись сделать их подвижными и, значит, более интересными. Эта маленькая деталь и еле ощутимый намек на Раскольников свидетельствуют о том, что восстановление справедливости не так-то просто, как может показаться на первый взгляд; не только сам воскресший из мертвых Иннокентий начинает все больше сомневаться в правомерности своего поступка по мере того, как к нему возвращается память – на этой мысли выстроена вся система персонажей романа, в которой даже худший злодей, гэнэушник Воронин, выглядит неоднозначной фигурой.

По мере возвращения памяти Иннокентий спрашивает себя, а не виновно ли общество в преступлении Зарецкого? И не был ли он просто инструментом справедливости, а не преступником?

А <...> может, он тогда и не виноват, что на отца Анастасии наступал? Может быть, общественные условия виноваты? Гейгер-то, я думаю, так и считает. Но ведь не общественные условия на профессора стучали, а Зарецкий. Значит, он совершил преступление, и то, что его тюкнули по голове, оказалось наказанием. Справедливым, подчеркиваю, наказанием злодея, хотя об этом мало кто знал. Сложнее все выглядит в отношении того, кто его тюкнул. Он – злодей или инструмент справедливости? Или – и то, и другое? [7. С. 343].

Воскресший Иннокентий хотел бы нарисовать портрет Зарецкого – с очевидными покаянными намерениями, чтобы отдать справедливость – в обратном, реабилитирующем смысле – тому, кого он убил, защищая справедливость:

Если бы ко мне в полной мере вернулось мое умение, я нарисовал бы Зарецкого. Портрет человека, скорбно склонившегося над колбасой. Нарисовал бы не насмешливо – а сочувственно. Если не с любовью, то, по крайней мере, с жалостью. Его ведь некому было пожалеть, и ни одной слезы не пролилось на его похоронах. Ни одной.

Вообще говоря, мне кажется, что, когда человека описываешь по-настоящему, не можешь его не любить. Он, даже самый плохой, становится твоим произведением, ты принимаешь его в себя и начинаешь чувствовать ответственность за него и его грехи – да, в каком-то смысле и за грехи. Ты пытаешься их понять и по возможно-

сти оправдать. А с другой стороны: как понять поступок Зарецкого, если он сам его не понимает? [7. С. 355–356].

Ненависть Иннокентия становится неоднозначной даже по отношению к его мучителю Воронину. Когда он смотрит документальный фильм о СЛОН с кадрами 1920-х гг., он чувствует частью самого себя своего врага, ныне живущего только в его памяти, и задается вопросом – не в себе ли самом он его ненавидит?

Начальника узнал, мерзавца Ногтева. Кстати, о мерзавцах: показалось мне, что мелькнул где-то и Воронин. Он, не он?

Взять Воронина – кто он сейчас? Груда костей – если его, конечно, не сожгли. Тогда-то какой страх на всех наводил, а теперь – прах, серая фигурка в кадре. Вот я его мерзавцем назвал, продолжаю ненавидеть. Только ведь, если это сейчас происходит, то, получается, ненавижу его нынешнего, а он уже понятно кто. Кого же я тогда ненавижу? Если же я все это чувствую к нему тогдашнему, значит, он – не прах? Может быть, оставшись в моей памяти, Воронин стал частью меня, и я ненавижу его в себе? [Там же. С. 188–189].

И наконец, когда выясняется, что Воронин еще жив, эта неоднозначность достигает своего апогея в его манере держаться, столь же нейтрализующей эксцессы:

Воронин в упор смотрит на Иннокентия: – Покаяний не жди. Женщина, вздохнув, заглядывает в чашку. – Почему? – спрашивает Иннокентий. Закрыв глаза, Воронин тихо, но внятно произносит: – Я устал. Устал. Вернувшийся Чистов показывает нам на часы. Мы уходим.

Как удивительно устроена жизнь. Воронин оказался единственным, кто остался, чтобы свидетельствовать о моем времени. Я искал мертвых, чтобы они свидетельствовали – если не словами, так хотя бы своим присутствием, – а тут живой нашелся.

Он сказал: покаяний не жди. В который раз спрашиваю себя: почему? Для чего-то же он был оставлен живым до ста лет – не для покаяния ли? Он великий преступник, и Всевышний, возможно, все оттягивал его уход, давая ему возможность одуматься. Воронин сказал, что устал. Все решили, что это было сигналом к окончанию встречи. А я думаю, что он говорил о своем состоянии, когда нет уже ни злости, ни раскаяния. Душа погружается в сон [Там же. С. 363–364].

Воронин не то чтобы демонстрирует раскаяние и молит о прощении – но все его поведение, так же как и исполненная по-

нимания реакция Иннокентия, внушают некоторую надежду на возможность преодоления чувства вины, обременяющего воспоминания о прошлом.

Смягчение антагонистической оппозиции добра и зла осуществляется и за счет пространственно-временного расположения участников действия. Парные образы формируют структуру романа в той же мере, что и противопоставленные. Эти конstellляции связывают между собой две эпохи и в то же время обостряют рефлексию о добре и зле.

Старой Анастасии, любимой девушке юного Иннокентия, приходит на смену Настя, ее внучка, которая становится женой воскресшего Иннокентия. Так сближаются разные исторические эпохи, и с Настей Иннокентию до некоторой степени удастся осуществить то, в чем ему было отказано с Анастасией – счастливое супружество, увенчанное ожидаемым рождением ребенка.

Обвиненному в контрреволюционной деятельности, арестованному и расстрелянному профессору Воронину (отцу старой Анастасии) противостоит истязатель Иннокентия, случайный однофамилец жертвы репрессий, гопэушник Воронин: в свою очередь, его образ перекликается с образом доносчика Зарецкого.

Структурной насыщенностью обладает не только оппозиция Иннокентий – Зарецкий, но и оппозиция Иннокентий – Воронин, тоже являющаяся предметом рефлексии Иннокентия. Воронин и Иннокентий, палач и жертва, связаны между собой еще и тем, что они являются единственными оставшимися в живых свидетелями и современниками сталинской эпохи. Эту связь в романе Водолазкина особенно отчетливо обозначает имеющая несколько плакатный характер ассоциативная интертекстуальная отсылка к роману «Робинзон Крузо»: пространственная изоляция героя Дефо становится символическим заместителем изоляции во времени в романе «Авиатор»:

<...> все у Робинзона – последнее, ничему нет замены. Родившее его время осталось где-то далеко, может быть, даже ушло навсегда. Он теперь в другом времени – с прежним опытом, прежними привычками <...> [7. С. 42].

Подобно Робинзону Иннокентий, так же как и его прежний учитель Воронин, реликт своей ушедшей в прошлое эпохи, они оба изолированы в новой современности как на острове, они оба – един-

ственные ее живые свидетели – островок прошлого в настоящем¹. Как эта пространственно-временная метафористика влияет на семантизацию Соловков? Ниже я вернусь к этому вопросу. Но сначала – еще несколько соображений о концепции истории в романе Володзкина.

Рефлексия о ходе истории вообще и о злодеянии в частности постоянно возникает в романе:

Вот Гейгер не верит в коллективное движение к гибели, не видит для него рациональных причин. А причины-то бывают и иррациональные. *Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения...* Так оно, конечно, не всегда и не для всех людей (тут Гейгер прав), но – для большого их количества! Достаточного, чтобы превратить страну в ад. Мой кузен подается в опричники, сосед идет стучать на профессора Воронина. Коллега Воронина Аверьянов дает на него чудовищные показания. Почему?!

Ну, Бог с ним, с кузеном, он слабый человек, утвердиться хотел. У Аверьянова, допустим, зависть – естественное для коллеги чувство. Но зачем стучал Зарецкий – из принципиальных соображений? Так ведь не было у него принципов (и соображений, подозреваю, тоже). Деньги? Да никто их ему не давал. Он ведь и сам мне по пьяни сказал, что не знает, отчего стучал. А я знаю: от переизбытка дерьма в организме. Оно, это дерьмо, росло в нем и ждало общественных условий, чтобы выплеснуться. Вот и дождалось [7. С. 342].

И что же это за объяснение – «дерьмо в организме»? Во всяком случае, это нечто такое, что не подчиняется высшим законам истории и ее движения, но в то же время оно и не признает полной свободы действия человека, но напротив, заставляет его действовать во зло – очень часто помимо его собственной воли, и обоснование имеет парадоксально-биологический характер, более общеантропологический, нежели расистский. Это «объяснение» возникает только после того, как все возможные нравственные позиции обнаружили свою относительность. И что же из этого следует? Как «объяснение»

¹ Ср.: «В моей прежней квартире я иногда чувствую себя будто на острове – среди моря чужой жизни. Бедный Робинзон Крузо»; «Робинзон за грехи был заброшен на остров и лишен своего родного пространства. А я лишился своего родного времени – и тоже ведь за грехи. <...> Подумал вдруг о лишенных времени и пространства: да ведь это мертвецы. Получается, что мы с Робинзоном – полумертвые. А может быть, и мертвые – для тех, кто нас знал в прежнем времени и прежнем пространстве» [7. С. 290, 297].

может прояснить вопрос относительно перспектив «интеграции травмы ГУЛага в национальное сознание? Какой исторический нарратив может быть далее предложен?

Роман Водозазкина реактуализирует жанр исторического романа весьма специфическим способом – и это позволяет провести параллели между ним и другими образцами этого жанра, прилепинской «Обителью», например. С одной стороны, в «Авиаторе» очевидны приметы классической жанровой модели исторического романа: его герои – фигуры второго плана, маленькие люди, вовлеченные в большие исторические события и воплощающие в себе типы эпохи. Великие исторические события сопоставлены маленьким людям, события раскрывают характеры, характеры отражаются в событиях. Роман очевидно преследует цель показать эпоху через характеры и мотивировать характеры эпохой. Но специфика жанра, созданного Водозазкиным, заключается в особой «деисторизации» и пространственного сдвига исторических событий путем параллельного развертывания сюжета в пределах двух исторических эпох: сталинизма и постсоветского времени, обнаруживающих таким образом свое известное сходство. Кроме того, само действие, неожиданная идентичность персонажей, принадлежащих разным историческим эпохам, а также двойничество-параллелизм нарративных моделей в структуре действия ставят под сомнение представление о линейности исторического времени, дополнительно подрываемое пространственным сосуществованием разных эпох¹. Таким образом, историческая динамика превращается в статику, почти повтор однотипных ситуаций, и это и есть концепция национальной истории: Россия, она такая.

Водозазкин очень последовательно и явно придерживается этой нарративной стратегии. Однако каков смысл подобного явного смыкания ее со следующим из постоянных параллелей сомнением в непререкаемости нравственных оппозиций добра и зла и сквозной рефлексией о справедливости?

И, значит, кто есть Зарецкий – преступник или инструмент справедливости? И кто в этом случае сам Иннокентий? И как он сможет объяснить все это своей будущей дочери? «Он – злодей или инструмент справедливости? Или – и то и другое? Как все это объяснить Анне?» – эти вопросы в финале романа еще раз возникают

¹ Здесь Водозазкин использует тот же прием, который ранее был разработан в его псевдоисторическом романе «Лавр» (2012–2016).

перед Иннокентием открытым текстом [7. С. 343]. И он косвенно отвечает на них в ключе абсолютного релятивизма: относительно добро и зло, относительно ответственность человека за его поступки, относительно великое и малое, относительно линейность истории. И здесь герой отказывается как от большой истории, обращаясь к своим частным детству и юности, так и от рассказывания: вместо того, чтобы повествовать о великом, он сосредоточивается на описании малого. Того самого малого, которое подчиняется не столько линейно-временному, сколько пространственно-линейному порядку. И выстраиваемый им повествовательный мост ведет поверх описанной в романе страшной эпохи ГУЛага, закапсулированной в оцепеневшей аллегории «Робинзона Крузо», прямиком в идеализированное дореволюционное детство, в котором Фемида держала в руках еще не расколовшиеся весы справедливости:

<...> сказав, например, «мое детство», я не объясню будущей дочери ровно ничего. Чтобы дать ей хоть какое-то представление об этом, я должен буду описать тысячу разных подробностей, иначе ей не понять, в чем состояло тогдашнее мое счастье.

Что в таком случае ждет описания? Ну, конечно же, обои над кроватью – я до сих пор помню их цветочный узор. По нему за минуту до сна вечерами скользит мой палец. Звон крышки ночного горшка, пронзительный, как оркестровые тарелки. Из звуков памяти еще – при каждом моем движении – скрип кровати. Рука гладит ее блестящие холодные трубки, сплетается с ними, даря им свое тепло. Съезжает вниз, ощупывает складки простыни и упирается в колено сидящей у кровати бабушки. Я рассматриваю люстру и ее паучьи тени. В центре потолка светло, а по углам мрак. На шкафу, излучая справедливость, держит весы Фемида. Бабушка читает «Робинзона Крузо» [Там же. С. 410–411].

Вот и все, о чем должна узнать Анна, будущая дочь Иннокентия, дитя сталинской и постсоветской эпох, единственный оплот надежды и воплощение светлой перспективы в будущем – не более и не менее.

Финал романа демонстрирует это событие и эти возможные только в его результате перспективы как специфически русские: фраза «все возможно в России» – это изреченная в нем истина о России, истина, которая, как должно свидетельствовать действие романа, является одновременно проклятием (поскольку Россия постоянно разбивается о свою безграничность) и благословением (ка-

ковым становится второй шанс Иннокентия, видящего в своей еще не родившейся дочери Анне надежду на будущее).

Что ж, в России все возможно... Распространенная, должно быть, фраза, если сохранилась даже в моей разрушенной памяти. Есть в ней свой ритм. Не знаю, что за этим стоит, а *фразу* вот помню. <...> В России все возможно, м-да. Есть в этом осуждение, что ли, даже приговор. Чувствуется, что это какая-то нехорошая безграничность, что все направится известно в какую сторону. В какой мере эта фраза касается меня? [7. С. 23].

У нас с Анастасией *должен* был быть ребенок, но у нас уже *не могло* быть ребенка. Настя несет в себе плоть Анастасии, значит, наш с ней будущий ребенок – это отчасти и ребенок Анастасии. Если бы русская история не была так кромешна, то сейчас Настя была бы нашей общей с Анастасией внучкой. Впрочем, только ли в истории дело? И стоит ли так уж валить все на нее?

Вот сейчас, я заметил, в России полюбили фразу об отсутствии в истории сослагательного наклонения. Как и в мое время, нынче тоже возникают *фразы*, и их повторяют к месту и не к месту. История, видите ли, не имеет... Может, и не имеет, только бывают случаи, когда она предоставляет словно бы вторую попытку. Это – повторение и одновременно неповторение того, что было.

Как же иначе объяснить, что мне был дан еще один шанс для жизни? Что я – если называть вещи своими именами – воскрес? Что Анастасия дожила до поздней своей встречи со мной? Что мне встретила Настя, которую я люблю и которая любит меня? Неужели все это – просто отдельные случаи или, более того, – случайности? Конечно же, нет. Я и Настя (и Анастасия!) имеем дело с кусочками одной мозаики, потому что, когда множество случайностей складывается в общую картину, это – закономерность [Там же. С. 227].

История, как она интерпретирована в романе Водолазкина, в конечном счете направляется высшими законами (хотя и в этом тоже сомневается автор романа), и эти законы имеют национальный характер. Здесь, в пространстве России, исторические эпохи, вместо того чтобы линейно следовать друг за другом, обнаруживают свою способность сосуществовать, а прошлое не может пройти – и, значит, оно непреодолимо.

Название романа, так же как и сквозной мотив полета, оформляет авторскую рефлексия о возможности панорамного взгляда сверху на историю и исторические события. Название «Авиатор» тесно

соотнесено с образом героя, Иннокентия Платонова, который постоянно вспоминает о своей юношеской мечте стать летчиком и о том, что именно авиаторы были кумирами времен его юности, авангардом советской мечты о покорении космоса. Он вспоминает и о том, как он в предреволюционные годы своего детства восхищался бипланом «Фарман-4» и знаменитым пилотом Фроловым (вымышленный образ), и эта ретроспекция приводит Иннокентия к вопросу: а может быть, лучше было бы не взлетать?

Авиатор видит, как под его ботинками трава, цветы, листья какие-то – все сливается в темно-зеленую массу. Может, и лучше было бы, если бы не взлетел-то... Ехал бы себе и ехал – чем плохо? [7. С. 327].

Этот романтический мотив, как и само название, содержит в себе косвенную отсылку к одноименному стихотворению Александра Блока, написанному именно в те годы, к которым отнесено детство Иннокентия: 1910–1912. Интертекстуальная ассоциация, равно как и эпиграф, предваряющий текст романа, выявляет второе, фигуративное значение мотива авиатора и переводит его в метапоэтический план:

Моей дочери

- *Что вы все пишете?*
- *Описываю предметы, ощущения. Людей. Я теперь каждый день пишу, надеясь спасти их от забвения.*
- *Мир Божий слишком велик, чтобы рассчитывать здесь на успех.*
- *Знаете, если каждый опишет свою, пусть небольшую, часть этого мира... Хотя почему, собственно, небольшую? Всегда ведь найдется тот, чей обзор достаточно широк.*
- *Например?*
- *Например, авиатор.*

Разговор в самолете

В финале романа Иннокентий именно словами эпиграфа, в которых «авиатор» оказывается метафорой панорамной перспективы на историю, мотивирует свое писательство [Там же. С. 409]. Так будущее героя-протагониста и метапоэтическая перспектива замыкают в кольцо действие романа. Скепсис по поводу притязания на всеохватный взгляд соединяет эти разноуровневые перспективы точно так

же, как вера в возможность такой точки зрения, которая позволила бы видеть больше других, и стремление к ней.

В разговоре с Гейгером и в своем дневнике Иннокентий размышляет о необходимости веры, позволяющей найти ответы на главные, последние вопросы бытия, на которые не может дать ответов наука. В этом диалоге, наряду с важным допущением существования бога, без которого ничто не может случиться, обсуждается возможность комбинации точек зрения, дающих фрагментарное представление о реальности, с точкой зрения, открывающей возможность необозримой перспективы, символом которой становится божья коровка¹. Так образ божьей коровки – трогательно прекрасный и лишенный даже тени комического элемента – становится эквивалентом образа героического авиатора: оба имеют почти божественную возможность всеохватного взгляда – и это актуально для всех, кто способен буквально или фигурально подняться в воздух.

Теперь зададимся вопросом о функции образа Соловков в романе Водолазкина, в котором историческое время проецировано на

¹ Ср.: «Вы – атеист? – спросил меня Иннокентий. – Нет, так я себя не определяю. Скорее, я человек, который доверяет научному знанию. Если наука докажет мне, что Бог есть, что ж... – Не обольщайтесь. На самые важные вопросы наука ответить не смогла. И не сможет – ни на один. – Например? – Как *все* возникло из *ничего*? Как появляется и куда уходит душа? Вопросов море – и все лежат за пределами науки. – Возможно. И все же мне трудно переступить через эти пределы. Хотя иногда и переступаю.

Сейчас переступаю, когда дело касается Иннокентия.

Он мне прочел фразу из церковного песнопения. Смысл ее в том, что, когда Бог захочет, побеждается естественный порядок вещей. Рамки науки в нашем с Иннокентием случае тесны как никогда. Просто впиваются в ребра. Вдавливают в меня религиозную мысль, что помочь здесь может только Он.

Разговаривали с Гейгером о Боге. Он Бога не отрицает как возможность, но прежде всего верит в факты, предоставляемые наукой. А в факты не надо верить, их достаточно знать. Этих фактов много, тьма тьмущая, только все они касаются неосновного. Мне даже иногда кажется, что эти факты от основного отвлекают. Из миллионов мелких объяснений не складывается одного всеобъемлющего. И не сложится – потому что то и другое находятся в разных измерениях. Так что напрасно Гейгер ждет здесь перехода количества в качество. А объясняет *Б*, *Б* объясняет *В*, и так до бесконечности, но где то, что объясняет всю эту бесконечность в целом?

Обилие открытий затуманило головы еще моим бывшим современникам, сделавшим атеизм модой. Уже тогда они напоминали божью коровку на шоссе. Она проползла десятков метров и очарована своим движением. Ей кажется, что она все изучила и поняла. Но она никогда не узнает, где начинается шоссе и куда ведет. Я поделился сравнением с Гейгером. Он прищурился: – А коровка-то, несмотря на ее самонадеянность, – Божья. Так что Богом разные взгляды допускаются. – Хитрый тевтонец, голыми руками не возьмешь. – Коровка, конечно же, Божья, почему ей и даны крылья. Чтобы увидеть всю дорогу, насекомому нужно лишь взлететь на небо, понимаете? Была такая детская песенка. – Почему была? – смеется. – Есть» [7. С. 356–358].

пространство и остров символизирует временную капсулу. В отличие от других произведений, конституирующих соловецкий текст последних десятилетий XX – первых десятилетий XXI в., Водолазкин не делает содержанием своего романа более раннюю историю Соловков, историю монастыря: его интересует только история СЛОН. Однако его, как и других писателей, обращавшихся к этому сюжету, волнуют закономерности национально-исторического развития, в данном случае это взаимосвязь сталинской и постсоветской эпох, и в первую очередь – проблема отношения к травмам, оставленным эпохой ГУЛага в национальном сознании и бытии: что с ней нужно и вообще можно сделать?

Изображая условия жизни в соловецком лагере, Водолазкин создает наглядную картину масштабов этой травмы. В нескольких главах [7. С. 130–131, 148–149, 187] воспоминания персонифицированного повествователя, свидетеля-очевидца, о том, что он видел, и о том, что с ним случилось (слова Иннокентия «Я это видел» являются отсылкой к знаменитому стихотворению Эренбурга 1942 г., посвященного жертвам холокоста). Нечеловеческие условия, жестокие наказания, пытки, убийства – и все это в древнем и знаменитом монастыре. Чтобы акцентировать масштабы озверения людей и границы возможного в изображении этих событий, Водолазкин устами своего героя Шаламова призывает к размышлению о последствиях ГУЛага и о возможности писать об этом времени.

В то же время, в соответствии с восходящим к Солженицыну утверждением, что ГУЛаг – это универсальная модель Советского Союза сталинской эпохи, Соловки показаны как локус, в котором советская наука достигла своих самых впечатляющих высот. Там и только там она имела возможность осуществить свои самые смелые и самые рискованные эксперименты на людях, во имя победы над смертью – эта цель была поставлена тем самым космическим утопизмом, который очевиден уже в мечтах Николая Федорова [Там же. С. 207, 212]. И единство этих аспектов делает образ Соловков в романе «Авиатор» своего рода идеальным воплощением и ключевой составляющей самого понятия «советский».

Но и последующая история лагеря – хотя бы в виде биографий людей из числа лагерного начальства – тоже представлена в романе «Авиатор». И здесь имеет значение не только образ истязателя Воронина: упоминание других деятелей СЛОН маркирует идею длящегося умолчания и отсутствия юридической кары [Там же. С. 310].

Сверх того, образ Соловков как острова, корреспондирующего на метафорическом уровне с островом Робинзона, предлагает очень своеобразный символический ответ на вопрос о возможности интегрирования ГУЛАГа в память национальной истории: капсулирование, самоизоляция в пространстве символического острова. Соловки, топос ужаса, место рождения СЛОН, откуда система ГУЛАга распространилась на всю Россию, символизируют, подобно островку прошлого в современности, на котором обитает герой романа, такой компромиссный выход, который не дает возможности преодоления, но дает возможность приятия: параллельное сосуществование современности и помнящегося, но нестерпимого прошедшего, заключенного в капсулах временных островов.

Это решение проблемы поддержано с флангов универсальным нравственным релятивизмом, который оставляет окончательный суд высшей, божественной инстанции, но в сфере земного человеческого существования придерживается представлений об относительности нравственных оценок. Исторические события и факты ужасны, но между преступником и жертвой невозможно установить четкие границы – во всяком случае, в условиях сосуществования исторических эпох.

Здесь – точка пересечения романа Водозазкина с интегративно-символическими стратегиями других типов соловецкого текста. И то, что его история о Соловках предстает как сугубо специфическое и, следовательно, сугубо национальное проявление русской культуры, тоже согласуется с соловецкими концептами его предшественников. С романом Прилепина «Авиатор» перекликается еще и в том, что в нем – вопреки общему пессимизму – присутствует открытая перспектива, у Водозазкина еще более конкретная, поскольку она воплощена в залоге надежды – в образе будущей дочери героя.

IV. Перспективы сопоставления и заключение

Интересно сравнить русский «Соловецкий текст» последних десятилетий с иноментальным концептом Соловков, который предложен в широко известном в России эссе польского журналиста-русиста Мариуша Вилька. В своем эссе под названием «Wilczy notes» (в немецком переводе: «Schwarzes Eis» – «Черный лед», в русском – «Волчий блокнот»); оба перевода не передают каламбурное обыгрывание имени автора в названии текста) Вильк тоже зада-

ется универсальным вопросом об исторической эволюции символического потенциала Соловков как значимого топоса на карте духовной жизни России. Разумеется, интерес поляка Вилька к Соловкам иной, чем у русских авторов. Интерес Вилька, как об этом свидетельствуют его высказывания, направлен не столько на Соловки как значимый топос той страны, соответственно, империи, от экспансионистских устремлений и карательных мероприятий которой Польша сильно пострадала. Вилька в большей мере интересуют, с одной стороны, универсальная семантика и функции Соловков, могущие быть спроецированными на все исторические эпохи и на любое государство, а с другой – специфика опытов символической концептуализации топоса на протяжении русской истории.

Для Вилька Соловки – это история Русского Севера. Польский журналист тоже не изолирует семантику разных исторических фаз жизни Соловков; он видит существующую на протяжении столетий континуальность универсальной функции Соловков как места заключения и изоляции от общества [8. С. 107]. Метонимическая интерпретация топоса как *pars pro toto* всей России очевидна и у Вилька в метафоре зеркала, в котором отражается вся страна:

Мотив зеркала и лабиринта лежит в основе соловецкой фабулы с самого начала истории Островов и неразрывно связан с темой смерти. Потому что самые древние следы человека на Соловках, каменные лабиринты (II–I тысячелетие до нашей эры) – не что иное, как остатки тропы на тот свет, который – по саамским верованиям – есть отражение нашего мира, словно картинка в зеркале, где правое становится левым. А Острова, лежавшие к западу от материка, находились, согласно мифологии саамов, на полпути к загробной жизни – остановка после могилы. Поэтому они хоронили здесь своих умерших, в первую очередь шаманов и вождей, и строили лабиринты из камня, чтоб не дать душам мертвых вернуться в мир живых... Православные монахи называли саамские постройки «вавилонами», трактуя их как символ затерянности человека в закоулках греха, а позже сами принялись воздвигать огромные каменные стены, чтобы, укрывшись за ними, перебирать собственные прегрешения. Оставленный мир виделся им источником духовной смерти, а смерть тела, о которой они призывали помнить неотступно, должна была явиться началом вечной жизни. Другими словами, они умирали еще на земле, чтобы ожить на небесах... Затем – СЛОН, лабиринт из колючей проволоки. Совет-

ская реальность строила рожи из соловецкого зеркала, на пограничье земного и загробного мира... [8. С. 149].

В то же время Вильк, подобно Бродскому, видит в Соловках топос альтернативного мышления и противостояния принятому порядку. Он подчеркивает, что Соловки развивались и как центр старообрядства, и как питомник многочисленных сект, в том числе и польских – хлыстов, скопцов и т.д. В качестве примера Вильк приводит проект Сергия Радонежского, который, как полагает Вильк, в качестве меры противостояния татаро-монгольскому игу хотел основать целую сеть монастырей на Русском Севере: они должны были стать государствами в государстве, убежищами духовной аристократии: Белоозеро – Валаам – Соловки...

Мысль Вилька интересна постольку, поскольку проект сети монастырей в его интерпретации выступает как позитивная альтернатива опричнине и позитивный аналог позднейшей сети лагерей ГУЛага: таким образом, Соловки у него получаются не столько репрезентативной моделью официальной власти, сколько центром противостоящей ей власти альтернативной!

Вильк тоже видит в Соловках лиминальный топос соответственно положению теории обряда (Гернер на основе ван Геннепа), топос, в котором затемняются и размываются противоположность всех ценностей и все параметры жизни, например время¹, равно как и граница между посю- и потусторонним мирами (рассказы о Соловках неизменно затрагивают тему смерти)².

Несмотря на общность исходной точки зрения на символическую семантику Соловков как континуальную, проходящую через многие исторические эпохи без изменения своих денотатов, все же интерпретации этой семантики русскими авторами по обоим пунктам значительно отличаются от предложенного Вильком концепта. Именно в сравнении с концепцией Вилька становится особенно очевидной специфика русской концептуализации Соловков: во-первых, у русских более подчеркнута лиминальность Соловков, а во-вторых,

¹ Ср.: «Соловки ведь не имеют ни начала, ни конца» [8. С. 47].

² Вопрос о том, является ли амбивалентная оценка личности директора СЛОН Эйхманис симптомом лиминальности, является дискуссионным. Однозначно негативную находим в гл. IV [8. С. 44], однако далее читаем, что Эйхманис в 1925 г. дал разрешение на службу по католическому обряду, но служба не состоялась из-за того, что воспротивились монахи. Точно так же обстоит дело и сейчас: в 1993 г. соловецкие монахи не разрешили варшавскому профессору прочесть католическую мессу по католикам – жертвам СЛОН.

их символическая семантика имеет более обобщенный характер. Русские приписывают этому топосу общечеловеческое, но при этом очень определенное символическое значение, которое является чем-то большим, нежели просто структурное определение лиминальности: русский «соловецкий текст» пользуется универсальным антропологическим кодом описания и одновременно форсирует национальное начало в семантике этого текста.

Не потому ли, что Соловки оказались позиционированы в универсальном этическом измерении как топос открытого противоборства добра и зла, острова и заняли такое недвусмысленно очевидное место на символической карте России? И не могут ли Соловки по этому признаку сравниться с другими русскими топосами, тоже в известном смысле лиминальными и отмеченными на ментальной карте всей России столь же интенсивным символическим смыслом – такими, как Петербург или Сибирь?

По сравнению с «петербургским текстом», который со времен Пушкина складывается в космогоническом нарративе со свойственной ему амбивалентной символикой и принципиальной открытостью, а также по сравнению с национальным «сибирским текстом», формирующимся от Достоевского до Солженицына в нарративе пересечения границы, столь же непредсказуемом в своем исходе нарративе инициации, «соловецкий текст» конституирован и создан нарративом борьбы, конфронтации добра и зла, которая разворачивается или в пространстве противостояния центра и периферийных Соловков как равновесного противника этого центра, или во внутреннем пространстве самих Соловков, однако в обоих пространствах исход этой борьбы столь же непредсказуем.

*Перевод О.Б. Лебедевой
(Томский государственный университет)*

Литература

1. Нагибин Ю. Куличок-игумен // Дружба народов. 1985. № 12. С. 109–131.
2. Нагибин Ю. Поездка на острова // Нева. 1986. № 1. С. 80–114.
3. Нагибин Ю. Встань и иди. М.: Худож. лит., 1989. 703 с.
4. Лихачев Д.С. Избранное. Воспоминания. СПб.: Logos, 1997. 559 с.
5. Бродский Ю. Соловецкие парадоксы // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. 2002. № 1. С. 115–123.
6. Прилепин З. Обитель. М.: АСТ, 2014. 746 с.
7. Водозакин Е. Авиатор. М.: АСТ, 2016. 416 с.
8. Вильк М. Волчий блокнот. М.: Новое литературное обозрение, 2006. 212 с.

THE SOLOVSKI TEXT. PART 2

Imagologiya i komparativistika – Imagology and Comparative Studies, 2017, 8, pp. 158–189. DOI: 10.17223/24099554/8/9

Susanne K. Frank, Humboldt University of Berlin (Berlin, Germany). E-mail: susanne.frank@staff.hu-berlin.de

Keywords: Solovki, Solovetsky monastery, Solovetsky Special Purpose Camp (SSPC), “Solovki text”, symbolic continuity, evolution of local text, Yu. Nagibin, *Journey to the Islands*, Yu. Brodsky, *The Paradoxes of Solovki*, Z. Prilepin, *Abode*, E. Vodolazkin, *The Aviator*.

The article is an attempt to describe the “Solovki text” of Russian literature. Its second part is devoted to the modern version of the “Solovki text”, which can be called the experience of national historical typification. Yuri Nagibin’s *Journey to the Islands* (1986), Yuri Brodsky’s *The Paradoxes of Solovki* (1998), Zakhar Prilepin’s *Resident* (2014) and Evgeny Vodolazkin’s *The Aviator* (2016) are analyzed.

The authors, each in their own way, adhere to an anthropological description code. However, they deviate from the description of Solzhenitsyn, focusing not on the general history of the Gulag system, but specifically on the history of Solovki, proceeding from the desire to show the continuity of this history, a recurring return to the same situation-constellation. At the same time, the authors emphasise the national significance of Solovki that are not only a source, a starting point and a synecdoche of the Gulag network that stretches all over the country, but also a symbolic topos, important for the history of the whole country.

Nagibin, Brodsky, Prilepin and Vodolazkin show the historical continuity of Solovki, originating in the Middle Ages and actual to this day: the ambivalence of the symbolic connotations of the topos, the vibration of its meanings between the poles of the many-valued holy place, the secluded abode of spirituality and faith, on the one hand, and the topos of violent rejection from society, a topos, in which the power of the centre is asserted in the most cruel way, on the other. A conclusion is drawn about the modelling semantics of Solovki, which is a symbol of traumatic historical memory. The options for reconciliation and acceptance of the national past determine the contemporary dynamics of the “Solovki text”.

References

1. Nagibin, Yu. (1985) Kulichok-igumen [The sandpiper-like hegumen]. *Druzhba narodov*. 12. pp. 109–131.
2. Nagibin, Yu. (1986) Poezdka na ostrova [Journey to the islands]. *Neva*. 1. pp. 80–114.
3. Nagibin, Yu. (1989) *Vstan' i idi* [Rise and go]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
4. Likhachev, D.S. (1997) *Izbrannoe. Vospominaniya* [Selected works. Memories]. St. Petersburg: Logos.
5. Brodsky, Yu. (2002) Solovetskie paradoksy [The paradoxes of Solovki] *Solovetskoe more. Istoriko-literaturnyy al'manakh*. 1. pp. 115–123.
6. Prilepin, Z. (2014) *Obitel'* [Abode]. Moscow: AST.
7. Vodolazkin, E. (2016) *Aviator* [The Aviator]. Moscow: AST.
8. Wilk, M. (2006) *Volchiy bloknot* [Wolf notes]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.